

Густав Герлинг-Грудзинский
Уной мир



Густав Герлинг-Грудзиньский

Иной мир. Советские записки

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67194717

*Иной мир. Советские записки: Издательство Ивана Лимбаха; Санкт-Петербург; 2020
ISBN 978-5-89059-362-7*

Аннотация

Густав Герлинг-Грудзиньский (1919–2000) – польский писатель и журналист. Крупная фигура польской литературной эмиграции XX века. В 1940 году во Львове был арестован НКВД и обвинен в шпионаже. Два года провел в лагере в Ерцево (Архангельская обл.). «Иной мир» – первая в мире книга, рассказавшая правду о существовании в СССР преступной системы концентрационных лагерей. Это документальная проза о жестоких методах «перековки личности», превращавших людей в лагерную пыль. Книга написана в Англии в 1950 г. и сначала вышла в английском переводе с предисловием Бертрانا Рассела (1951). Переведена на множество языков. Польский оригинал увидел свет в 1953 г. в Лондоне и лишь в 1989 г. в Варшаве. Впервые на русском языке книга напечатана в лондонском издательстве OPI в 1989 г.

Содержание

Часть первая	5
Витебск – Ленинград – Вологда	5
Ночная охота	35
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Густав Герлинг- Грудзинский Иной мир Советские записки

Кристине



Часть первая

Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий; тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь – как нигде, и люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и принимаюсь описывать.

Достоевский. Записки из Мертвого дома

Витебск – Ленинград – Вологда

Лето в Витебске шло к концу. После полудня солнце недолго еще припекало булыжник в тюремном дворе и завершало свой путь за красной стеной соседнего корпуса. Со двора доносился мерный топот эсков по дороге в баню и русские слова команд, смешанные со звяканьем ключей. Дежурный в коридоре что-то напевал себе под нос, раз в несколько минут складывал газету и неторопливо подходил к круглому дверному оконцу. Двести пар глаз как по приказу отрывались от потолка и сходились к линзочке волчка. Из-под клеенчатого козырька на нас глядел огромный глаз – обойдя камеру взмахом маятника, он исчезал за опущенной жестяной заслонкой. Три удара сапогом в дверь означали: «Готовиться к ужину».

Полуголые, мы поднимались с цементного пола – сигнал на ужин кончал и с нашей послеполуденной дремой. С глиняными мисками в руках, дожидаясь горячей вечерней жижи, мы сообща отливали в высокую парашу желтоватую жижу с обеда. Струи мочи из шести-восьми отверстий встречались посреди параша, описав дугу, как в фонтане, и бурлящими воронками ввинчивались до дна, поднимая уровень пены у стенок. Перед тем как застегнуть ширинки, мы еще поглядывали, как странно выглядит бритый пах: словно согнутое ветром дерево на бесплодной полевой обочине.

Если спросить меня, что еще мы делали в советских тюрьмах, я не нашел бы что прибавить. Правда, как только умолкала за дверьми колотушка, возвещавшая побудку, и в камеру въезжал котел горячего травяного отвара, а за ним корзина с хлебными пайками, наша склонность к разговорам достигала вершины: мы пытались «заговорить» хлеб до обеда. Католики собирались вокруг аскетического ксендза, евреи усаживались поодаль, возле армейского раввина с рыбьими зрачками и свисавшими с бывшего живота складками кожи, простые люди рассказывали друг другу сны и вспоминали прежнюю жизнь, а интеллигенты собирали окурки на общую сигарку. Однако стоило раздаться трем ударам сапога в дверь – и все живое, в сосредоточенном молчании, под предводительством своих духовных вождей, бросалось к котлу баланды в коридоре. С того дня, как у нас в камере появил-

ся маленький чернявый *еврей*¹ из Гродно и, возвестив, что «немцы взяли Париж», горько расплакался, у нас на нарах прекратился патриотический шепот и кончились политические разговоры. В потоке жизни, обходившей нас стороной, мы плыли, как мертвый сгусток крови ко все слабее бьющемуся сердцу свободного мира.

Под вечер становилось прохладнее, на небе появлялись волнистые облака – они проплывали медленно, зажигая по пути первые звезды. Ржавая стена напротив окна на мгновение вспыхивала рыжим пламенем и так же мгновенно гасла, захваченная крылом сумерек. Приближалась ночь, а с ней – дыхание для легких, отдых для глаз и влажное касание прохлады к запекшимся губам.

Перед самой поверкой в камере включалось электричество. От этого внезапного света небо за окном погружалось во тьму, а потом вспыхивало мигающим сиянием. Это вышки патрулировали ночь скрещивающимися клинками прожекторов. Еще до падения Парижа как раз об эту пору на крохотном отрезке улицы, который был виден из окон нашей камеры, появлялась высокая женщина, повязанная платком, и, став под фонарем напротив тюремной стены, закуривала. Несколько раз ей случилось поднять горящую спичку вверх, словно факел, и на мгновение застыть в этой необъяснимой

¹ Все набранное курсивом (включая далее названия некоторых глав) – по-русски в тексте. В данном случае это объясняется тем, что слово «еврей» – для поляков странное, по-польски еврей – «жид», что, в свою очередь, воспринимается русскими как брань. (*Примеч. пер.*)

позе. Мы рассудили, что это должно означать Надежду. После падения Парижа улица опустела на два месяца. Только во второй половине августа, когда витебское лето близилось к концу, незнакомка пробудила нас от дремы частым стуком каблуков по булыжнику, остановилась под фонарем и, закурив, погасила спичку зигзагообразным движением руки (погода была безветренная), напоминая скачки передачи в паровозных колесах. Мы все согласились, что это должно означать Этап.

* * *

Однако с этапом не спешили еще в течение двух следующих месяцев. Только под конец октября из камеры, где сидело двести человек, вызвали пятьдесят эков на зачтение приговоров. Я шел в канцелярию равнодушно, без тени возбуждения. Следствие по моему делу закончилось еще раньше, в гродненской тюрьме; я не вел себя образцово, отнюдь! – и по сей день искренне восхищаюсь своими тюремными знакомцами, у которых хватало храбрости вступать с советскими следователями в утонченный диалектический поединок, полный метких уколов и молниеносного отражения ударов. Я отвечал на вопросы коротко и прямо, не рассчитывая на разгоряченное воображение, которое подскажет мне на лестнице, на обратном пути в камеру, гордые строки из катехизиса польского мученичества. Я хотел спать, спать, спать –

и больше ничего. Я физически не умею справиться с двумя вещами: прерванным сном и полным мочевым пузырем. И то и другое мучило меня одновременно, когда, разбуженный посреди ночи, я сидел на жесткой табуретке напротив следователя, а в глаза мне бил свет от невообразимо яркой лампы.

Первая гипотеза обвинения опиралась на два вещественных доказательства: высокие кавалерийские сапоги, в которых младшая сестра проводила меня в дорогу после сентябрьского разгрома, должны были свидетельствовать, что я – «майор польских войск», а первая часть фамилии, в ее русском звучании, неожиданно сближала меня с известным маршалом германской авиации². Логический вывод: «польский офицер на службе вражеской германской разведки». Бросающиеся в глаза ошибки обеих посылок все-таки позволили нам довольно быстро разобраться с этим тяжким обвинением. Оставался бесспорный факт: я пытался пересечь государственную границу Советского Союза с Литвой. – А позвольте узнать, зачем? – Чтобы воевать с Германией. – А известно ли мне, что Советский Союз заключил договор о дружбе с Германией? – Да, но мне также известно, что Советский Союз не объявил войны ни Англии, ни Франции. – Это не имеет значения. – Как в конце концов звучит обвинение? – «Намеревался нелегально перейти советско-литов-

² По-польски первая часть фамилии автора – Herling. Ее традиционная русская транскрипция напоминает следователю фамилию Германа Геринга. (*Примеч. пер.*)

скую границу, чтобы продолжать борьбу против Советского Союза». – А нельзя ли слова «против Советского Союза» заменить словами «против Германии»? Удар ладонью наотмашь меня отрезвил. «Это в конечном счете одно и то же», – утешил меня следователь, когда я подписывал обвинилровку.

В камере, куда меня отправили после зачитания приговора (пять лет), в боковом крыле витебской тюрьмы, я впервые встретил русских зэков. На деревянных нарах лежало десятка полтора мальчишек в возрасте 14–16 лет, а под самым окном, за которым здесь виднелся только лоскуток тяжелого свинцового неба, сидел маленький человечек с покрасневшими глазами и крючковатым носом и молча грыз черный сухарь. Дождь лил не переставая вот уже несколько дней. Осень нависла над Витебском рыбьим пузырем, который источал струи грязной воды через водосточную трубу над намордником, заслонявшим верхнюю половину решетки и вид на тюремный двор.

Малолетние преступники – бич советских тюрем, но их почти не встречаешь в лагерях. Неестественно оживленные, всегда чего-то доискивающиеся на чужих нарах и в своих ширинках, они вдохновенно отдаются двум страстям: воровству и онанизму. Почти все они либо вообще никогда не знали своих родителей, либо не знают, где те и что с ними. На широких просторах полицейского государства они с поразительной свободой ведут типичную жизнь *беспризорных*, путешествуя куда глаза глядят – из города в город, из по-

селка в поселок. Живут они кражей товаров с государственных складов, нередко заново крадут то, что только что продали, шантажируя неосторожных покупателей угрозой доноса. Спят они на вокзалах, в городских садах, в трамвайных депо; иногда их единственное имущество – маленький узелок, перехваченный ремешком. Только позднее я понял, что *беспризорные*, наряду с *урками* (уголовниками), составляют самую опасную в России полулегальную мафию, организованную наподобие масонских лож. Если есть в Советском Союзе какие-то зачатки черного рынка, то лишь благодаря этим оборванцам, беспокойно охотящимся в толпе, осаждающим *спецторги*, прокрадывающимся в темноте к гумнам и угольным складам. Советские власти глядят на это сквозь пальцы, для них непризорники – единственные подлинные «пролеты», не отягощенные первородным грехом контрреволюции, глина, из которой можно вылепить что угодно. Потому эти ребята приучились относиться к тюрьме как к чему-то вроде пионерского лагеря и не чинясь используют эту передышку после утомительной жизни на свободе. В нашу камеру в Витебске время от времени приходил *воспитатель* с евангельским лицом, белокурым чубом и голубыми глазами; голосом, напоминавшим шепоток в исповедальне, он звал непризорных на занятия: «*Ребята, пойдём немножко поучиться*». Уши вяли, когда *ребята* возвращались с урока. Многоэтажный мат мешался с фразеологией *политграмоты*. Из клубка молодых тел в нашу сторону сыпались об-

винения в «троцкизме», «национализме» и «контрреволюции», заверения, что-де «правильно вас товарищ Сталин посадил», а «советская власть скоро завоюет весь мир», – все это повторялось с жестоким, садистским упрямством, таким типичным для всякой бездомной юности. Позже, уже в лагере, я встретил восемнадцатилетнего парнишку, который исполнял обязанности начальника КВЧ (*культурно-воспитательная часть*) только на том основании, что в тюрьме он в качестве *беспризорного* ходил на педагогические курсы.

В первый день мой сосед присматривался ко мне подозрительно, не переставая жевать черные корки, за которыми лазил в большой мешок, приспособленный вместо подушки. Он был единственным человеком в камере, с которым мне хотелось бы поговорить. В советских тюрьмах нередко встречаешь людей с явственной печатью трагедии на лице. Узкие губы, нос крючком, слезящиеся, словно от брошенного в них песка, глаза, прерывистые вздохи и куриные лапки, время от времени ныряющие в мешок, – все это могло значить много чего, а могло и ничего не значить. Он шел на оправку семяшками, а когда до него наконец доходила очередь, неуклюже растопыривал ноги над дырой, спускал штаны, осторожно поднимал длинную рубаху и, почти стоя, пыжился и багровел от чрезмерных усилий. Его всегда выгоняли из уборной последним, но и в коридоре он все еще застегивал штаны, смешно отскакивая в сторону от подзатыльников вертухая. Вернувшись в камеру, он тут же ложился, ды-

шал тяжело, а его старое лицо напоминало засушенный финик.

– Поляк? – спросил он наконец однажды вечером.

Я кивнул.

– Вот интересно мне, а в Польше, – захрипел он сердито, – мог бы мой сын быть капитаном в армии?

– Не знаю, – ответил я. – А вы за что сидите?

– Это неважно. Я могу хоть сгнить в тюрьме, но мой сын – капитан авиации.

После вечерней поверки он рассказал мне свою историю. Лежа рядом, мы разговаривали шепотом, чтобы не разбудить наших беспризорников. Старый еврей был из Витебска, несколько десятков лет работал сапожником, помнил революцию и с чувством вспоминал все пережитое с тех времен. Его приговорили к пяти годам за то, что в сапожной артели он воспротивился использованию обрезков кожи для подшивки новых ботинок. «Это неважно, – повторял он снова и снова, – сами понимаете, люди везде завистливы. Я сыну образование дал, я его в капитаны авиации вывел, так разве это им могло понравиться, что у старого еврея сын в авиации? Но он напишет жалобу, и меня освободят досрочно. Видал ли кто – этакий хлам на новые подметки?» Он приподнялся на нарах и, уверившись, что беспризорники спят, распорол подкладку под рукавом пиджака и из-под ваты вынул измятый снимок. На меня глядел человек в летной гимнастерке, с умным лицом и крючковатым носом.

Через несколько минут после этого один из беспризорников слез с нар, помочился в парашу у двери и постучал в окошко. В коридоре загремели ключи, раздался протяжный зевок и по каменному полу гулко застучали подкованные сапоги.

– Чего? – спросил сонный глаз в волчке.

– Гражданин дежурный, дайте закурить.

– Молока пососи, засранец, – грозно проворчал глаз и пропал за жестяной заслонкой.

Мальчишка припал обоими кулаками к двери и, на цыпочках подтягиваясь к слепому окошку, громко закричал:

– Гражданин дежурный, у меня к вам вопрос!

Теперь ключ два раза проскрежетал в замке, и окованная дверь приоткрылась. На пороге стоял молодой надзиратель в сдвинутой набекрень фуражке с голубым доньшком и красным окольшем.

– Говори.

– Здесь не могу, пустите в коридор.

Дверь со скрипом раскрылась шире, мальчишка под рукой, опиравшейся на торчащий в замке ключ, проскользнул в коридор и вскоре вернулся в камеру с папиросой в зубах. Жадно затачиваясь, он тревожно поглядывал в нашу сторону и ёжился, как щенок, отодвигающийся от удара.

Минут через пятнадцать дверь камеры опять широко раскрылась, дежурный энергично перешагнул порог и заорал:

– Встать! Корпусной идет! Обыск!

Корпусной начал обыск с беспризорников, а дежурный тем временем не отрывал взгляда от двух шеренг заключенных, выстроившихся по стойке «смирно» спиной к нарам, лицом друг к другу. Умелые руки быстро перетряхивали сеники беспризорных, порылись в моем логове и погрузились в мешок старого еврея. Сразу после этого я услышал шелест бумаги, слегка приглушенный шорохом ваты.

– Это что? Доллары?

– Нет, фотография моего сына, капитана Красной армии Натана Абрамовича Зигфельда.

– За что сидишь?

– За вредительство в кустарной артели.

– Вредитель советской кустарной промышленности не имеет права хранить в камере фотографию офицера Красной армии.

– Это же мой сын...

– Молчать. В тюрьме никаких сыновей.

Когда я уходил из камеры на этап, старый сапожник раскачивался на нарах, как одурелый попугай на жердочке, пережевывая вместе с хлебными корками несколько однообразно повторявшихся слов.

Нас вели на вокзал поздно вечером, через город, почти уже опустелый. Улицы, вымытые ливнем, поблескивали в черном свете вечера, словно длинные полоски слюды. В воздухе плыла душная волна тепла, а резко поднявшиеся воды Двины тревожно шумели под прогибавшимися доска-

ми моста. В переулках, неведомо почему, у меня возникло чувство, что изо всех окон, сквозь щели в ставнях, на нас устремлены людские взгляды. Только на главной улице движение чуть-чуть оживилось, но прохожие шли мимо нас молча, не поворачивая головы в нашу сторону, устремив взгляд в пространство или в землю, не глядя, но видя. Пять месяцев тому назад мы проходили по тем же улицам Витебска в жаркий июньский день, отгороженные от тротуаров стальной цепочкой штыков. Двина лениво ползла в пересохшем русле, по липким от зноя тротуарам энергично двигались усталые прохожие, перебрасываясь редкими словами и не задерживаясь ни на минуту: чиновники в фуражках с заломленными козырьками, рабочие в комбинезонах, заскорузлых от машинного масла, мальчишки с ранцами за спиной, солдаты в сапогах, воняющих салом, женщины в безобразных ситцевых платьях. Сколько бы я тогда отдал за то, чтоб увидеть нескольких весело болтающих друг с дружкой людей! Мы проходили мимо домов с раскрытыми окнами, с которых не свисали цветные одеяла, украдкой заглядывали через изгороди во дворы, в которых не сушилось белье, видели закрытый костел с надписью «*Антирелигиозный музей*», читали лозунги на плакатах, повешенных поперек улицы, глядели на огромную красную звезду на верхушке ратуши. Это не был город Печали – это был город, в который никогда не заглядывала Радость.



В Ленинграде наш этап разделили на партии по десять человек и одну за другой, с интервалами в несколько минут, повезли в воронках в *пересылку*. Зажатый между другими, почти задыхаясь в деревянной коробке без окон и вентиляторов, я не имел возможности увидеть город. Только на поворотах меня встряхивало, и в мгновение ока я успевал заметить сквозь щель в кабине шофера фрагменты зданий, скверов и людской толпы. День был морозный, но солнечный. Уже выпал снег – мы приехали в Ленинград в ноябре 1940 года, – на улицах встречались первые прохожие в валенках и шапках-ушанках. Болтающиеся наушники, правда, спускались только на уши и не заслоняли глаз, но, наподобие лошадиных шор, они позволяли смотреть лишь прямо перед собой, а не зевать по сторонам. Наш этап проехал по городским улицам незамеченным, как стая черных воронов, в поисках добычи кружащая над заснеженным полем.

Старые зэки рассказывали мне, что в Ленинграде в это время сидело около сорока тысяч человек. Подсчеты эти – на мой взгляд, довольно правдоподобные – основывались главным образом на тщательном сопоставлении и сравнении фактов, косвенных улик и разговоров по углам. Так, например, в знаменитой тюрьме Кресты, где была тысяча одиночных камер, в каждой камере держали в среднем тридцать

заключенных. Сведения об этом принесли зэки из Крестов, которые перед этапом в лагеря обычно проводили несколько ночей на нашей пересылке. Собственную численность мы определяли в десять тысяч человек: в 37-й камере, в нормальных условиях способной вместить самое большое двадцать человек, сидело семьдесят. Одно из поразительных и захватывающих явлений в скудной умственной жизни «мертвых домов» – потрясающе обостренная наблюдательность каждого опытного зэка. Не было камеры, где я не встретил бы хоть одного статистика и исследователя тюремной жизни, днем и ночью погруженного в реконструкцию картины окружающей действительности из мелкой мозаики упоминаний, рассказов, обрывков разговора, донесшегося из-за двери, клочков газеты, найденной в уборной, административных распоряжений, движения машин на тюремном дворе, звука приближающихся и удаляющихся шагов за воротами. В Ленинграде я впервые встретился с гипотезами о числе лагерников и ссыльных – «белых рабов» – в Советском Союзе. В тюремных дискуссиях оно колебалось в пределах 18–25 миллионов.

Наш этап наткнулся в коридоре на группу заключенных, двигавшихся к выходу. Мы стали как вкопанные – нас, скорее, остановил рефлекс испуга, нежели опасение мимолетно заглянуть в чужие лица. Группа, идущая нам навстречу, тоже отодвинулась в глубь коридора. Так мы стояли друг против друга, опустив головы, – два мира, связанные общей судьбой

и разъединенные стеной недоверия и страха. Конвойные коротко посоветовались: оказалось, что мы должны уступить дорогу. Застучала железная колотушка в боковой двери, приоткрылось оконце волчка. Еще краткое совещание – и нас вывели на широкий, просторный коридор корпуса, вид которого, казалось, опровергал все то, что я до сих пор видывал за время моих тюремных странствий.

Этот роскошный корпус с большими окнами и сияющими чистотой коридорами, которые так резко контрастировали с монастырской мертвизной большинства российских тюрем, занимал лучшее крыло пересылки. Огромные решетки,двигающиеся на металлических полозьях, заменяли в наружной стене камер двери, создавая иллюзию полной внутренней свободы и той особой дисциплины, которую люди, изолированные от мира, организуют по своей инициативе, чтобы забыть об изоляции. Пустые камеры производили впечатление комнат общежития, покинутых курсантами прямо перед нашим появлением. Образцово застеленные постели, тумбочки, уставленные семейными фотографиями в рамочках из цветной и серебряной бумаги, вешалки для одежды, белые раковины умывальников по углам, репродукторы и портреты Сталина; в конце коридора – общая столовая с эстрадой – наверно, для музыкально одаренных зэков. Портреты Сталина в тюрьме! Чтобы понять всю необычайность этого факта, следует помнить, что заключенные в России совершенно изъяты из всякой политической жизни, они не принимают

участия в ее обедах и обрядах. Период покаяния они отбывают без Бога, не получая, впрочем, всех благ этого принудительного политического атеизма. Им не разрешено хвалить Сталина, но ровно так же им не разрешено бранить его.

В течение этих нескольких минут ожидания я успел не только запечатлеть в памяти внешний вид тюрьмы – которую, вероятно, посещала Ленка фон Кербер, автор полной энтузиазма книги о советской пенитенциарной системе, – но еще и обменяться несколькими словами с единственным заключенным, находившимся в корпусе: в отсутствие сокамерников он исполнял роль дневального. Он сказал мне, копаясь в репродукторе и не глядя в мою сторону, что здесь отсиживают свой срок «полноправные граждане Советского Союза», приговоренные не больше чем на полтора года и осужденные за такие преступления, как *мелкая кража, прогул, хулиганство* и нарушения трудовой дисциплины. Весь день они работают в механических цехах, находящихся на территории тюрьмы, получают неплохую зарплату, прилично питаются и имеют право на *свидание* с родными два раза в неделю. Если бы советские власти создали подобные условия жизни двадцати миллионам заключенных и ссыльных, Сталин мог бы выставить «четвертую силу», чтобы держать в кулаке армию, НКВД и партию. Мой собеседник вовсе не жаловался на отсутствие свободы. Ему хорошо и удобно. Знает ли он, какова судьба заключенных в других корпусах ленинградской пересылки, в тысячах тюрем и лагерей, густой

сетью распростершихся по всей территории Советского Союза? Конечно знает, да это ведь «политические». – Там, – мотнув головой, он указывает на мертвый корпус пересылки с зарешеченными окнами, – сдыхают живьем. Здесь дышишь свободней, чем на воле. *Наши Зимний дворец*, – прибавляет он ласково. Сталин по собственному опыту знает, что, создавая в тюрьмах человеческие условия, можно пробудить дух смирения только в «бытовиках» и никогда – в «политических». Более того: чем лучше, с материальной точки зрения, чувствует себя «политический» в тюрьме, тем острее тоскует он по воле, тем резче бунтует против власти, бросившей его за решетку. Когда читаешь описание культурно и материально благополучной жизни, которую вели царские заключенные и ссыльные, трудно поверить своим глазам; а ведь именно эти люди свергли царский строй.

Не надо путать обычных «бытовиков» с «урками». Правда, в лагерях иногда встречаются мелкие уголовные преступники с приговором выше двух лет, но почти всегда они занимают в лагерной иерархии исключительную позицию, более близкую, пожалуй, к привилегиям лагерной администрации, чем к статусу рядового зэка. «Уркой» уголовник становится лишь после нескольких повторных сроков. Попав в это новое положение, он уже почти не расстается с лагерем, выходя на волю всего на несколько недель, чтобы уладить самые срочные дела и совершить очередное преступление. Критерием положения, которое он создает себе в лагере, служит

не только количество лет, проведенных им за колючей проволокой, и дело, за которое он сидит, но еще и то, какое состояние он себе сколотил на спекуляции, кражах, а нередко и убийствах *белоручек* (политических), сколько у него по лагерям *блатных* начальников и поваров, какова его квалификация на роль бригадира и на скольких *лагунках* поджидают его любовницы, словно перекладные лошади. Урка в лагере – это орган власти, самый главный человек после начальника вахты; он выносит решения о трудоспособности и благонадежности рабочих в бригаде; его часто ставят на самые ответственные должности, на всякий случай приставляя к нему в помощники специалиста без лагерного стажа; через его руки проходят все «целочки» с воли, прежде чем приземлиться в постелях начальства; он заправляет в *культурно-воспитательной части*. Эти люди думают о воле с таким же отвращением и ужасом, как мы о лагере.

* * *

В 37-й камере я оказался случайно. Во время сортировки этапа выяснилось, что моей фамилии нет в списках. Охранник беспомощно почесал в голове, внимательно проверил всех на букву «Г», еще раз спросил *имя-отчество* и пожал плечами. «В какую камеру тебя направили?» – спросил он. Из-за дверей по обе стороны коридора доносился беспокойный шум вперемешку с отголосками разговоров и крикли-

вым пением. Только в камере, расположенной чуть поодаль, на повороте коридора, стояла тишина; изредка ее прерывала фраза какой-то экзотической песни – пел хриплый, астматический голос – да раздавался резкий удар по струнам. «В 37-ю», – сказал я спокойно.

В камере было пусто – или почти пусто. Два ряда нар, сбитых из досок сплошь, без промежутков между спальными местами, давали некоторое ощущение устойчивости, но логова, устроенные из верхней одежды и бушлатов под поперечными стенками, и сложенные под столом узелки (в переполненных камерах их разворачивают только на ночь, используя каждый клочок пола, обе лавки, а иногда и стол) позволяли догадываться, что людей здесь больше, чем места для них. На матрасе, разложенном у самой двери, рядом с парашей, лежал громадный бородач с великолепной, словно из камня высеченной головой и восточными чертами лица и спокойно курил трубку. Он лежал, уставясь в потолок, подложив руку под голову, а другой рукой машинально поглаживал и одергивал армейскую гимнастерку со споротыми знаками различия. Стоило ему затянуться, как из зарослей щетинистой бороды, словно из-за куста можжевельника, вырывались клубы дыма. В другом углу камеры, по диагонали от этого, лежал, подтянув коленки кверху, мужчина лет за сорок, с гладко выбритым интеллигентным лицом, в галифе, сапогах и защитной гимнастерке, и читал книгу. Напротив бородача, свесив босые ноги с нар, сидел толстый еврей в

растянутой на груди армейской гимнастерке, из-под которой торчали клочковатые черные волосы. На голове у него был беретик, а шея, закутанная в шерстяной шарф, только подчеркивала мясистые губы, налитое кровью лицо и глаза-черносливины, вдавленные в пухлые щеки, как в высохший пирог, и разделенные носом в форме крупного огурца. Сопя и задыхаясь, он пел песню, которая показалась мне тогда итальянской, и отбивал такт рукой по коленке. Рядом с ним, прислонясь к стенному косяку, стоял хорошо сложенный атлет в морском кителе и полосатой тельняшке и побрякивал на гитаре, вглядываясь в туманные очертания Ленинграда. Сцена – как в ночлежке французских припортовых трущоб.

Перед самым обедом окованная дверь раскрылась настежь, и несколько десятков эков, еще держа руки за спиной, принялись парами входить в камеру в такт монотонным подсчетам надзирателя; камера вернулась с прогулки. Среди новоприбывших преобладали пожилые люди в военных гимнастерках и шинелях без знаков различий; некоторые вернулись на свои места на нарах, опираясь на палки или на плечи сокамерников. Десятка полтора молодых моряков и столько же штатских завершали шествие, проталкиваясь локтями к столу. Три удара сапогом в запертые двери значили тут то же самое, что в Витебске.

Во время обеда я познакомился с высоким красивым мужчиной, который внимательно присматривался ко мне и при

этом ел свою порцию каши с какой-то обдуманностью и изысканной элегантностью. Его большие задумчивые глаза были глубоко посажены на костлявом морщинистом лице, а челюсти после каждой ложки совершали медленное движение, словно разжевывали что-то исключительно вкусное. Он обратился ко мне первым, по-польски, почти по слогам, деревянным и слегка торжественным языком рассказывая свою краткую историю. Он был потомком ссыльных повстанцев 1863 года – его фамилия была Шкловский – и перед арестом командовал артиллерийским полком в Пушкине (бывшем Царском Селе). Говоря о России, он называл ее *родина*, а о Польше – «край наших отцов». За что его арестовали? Будучи командиром полка и поляком по происхождению, он недостаточно интересовался политическим воспитанием солдат. «Понимаете, – мягко улыбался он, – в детстве человека научили, что армия существует не для того, чтобы размышлять, а чтобы *защищать родину*». А за что сидят другие? «Эти генералы? – пожал он плечами. – За то, что слишком много занимались политикой».

Соседом Шкловского был тот мужчина в зеленой гимнастерке, которого я застал за чтением книги. Полковник Павел Иванович (к сожалению, я не помню его фамилии) был в камере единственным, наряду со Шкловским, офицером в таком низком чине. Узнав, что я поляк и в сентябре 1939 года был в Польше, он оживился и засыпал меня градом вопросов. Оказалось, что до ареста он работал в разведке на

польско-советской границе; он отлично знал все, даже самые глухие провинциальные дыры в Восточной Польше, а четыре года пребывания в тюрьме ничего не стерли из великолепно-го разведывательного досье, хранившегося у него в памяти. Он помнил размещение гарнизонов, дивизий, полков и отрядов корпуса пограничной охраны, фамилии и малейшие человеческие слабости их командиров: тот все время нуждался в деньгах на карточную игру, другой был помешан на лошадях, третий жил в Лиде, а в Барановичах держал любовницу, а вот этот был образцовый офицер. Он взволнованно расспрашивал меня об их участии в кампании 1939 года, как проигравшийся владелец конюшни расспрашивает об успехах своих прежних лошадей на заграничных бегах. Я мало что мог, да и хотел ему рассказать. У меня еще гудело в голове от сентябрьского шока.

Болтовня с Павлом Ивановичем на разведывательные темы не была бесполезной: мы быстро подружились, и однажды разговор мимоходом перешел на обитателей камеры. Я помню этот вечер так, словно это было вчера. Мы лежали на его нарах – точнее, он лежал, а я сидел, опершись на локоть; рядом с нами дремал ленинградский студент-медик с девичьим лицом, который однажды шепотом спросил меня в уборной, читал ли я «Возвращение из СССР» Жида: судя по статьям в советской печати, это очень интересная книга. В камере уже зажгли свет, за столом играли в карты моряки, а на нарах в ряд – как на двух братских катафалках – лежали

советские генералы, застыв в позе неподвижной задумчивости. Павел Иванович взглядом указывал мне на каждого по очереди, едва шевеля мышцами лица и – прямо как экскурсовод в зале египетских саркофагов – бросал краткие пояснения.

О толстом еврее, который, как обычно, свесив ноги с нар, что-то напевал, Павел Иванович сказал: «Дивизионный комиссар в Испании. Прошел крайне тяжелое следствие». Пробородача, неустанно попыхивавшего трубкой, – что это авиаконструктор, генерал авиации, который недавно объявил голодовку, требуя пересмотра приговора «во имя нужд советского авиастроения». Все были в 1937 году обвинены в шпионаже. По мнению Павла Ивановича, все дело было крупномасштабной немецкой провокацией. Через нейтрального посредника немецкая разведка подсунула советской сфабрикованные доказательства против значительной части советских штабных офицеров, которые в то или иное время побывали за границей. Немцам надо было парализовать советское командование, а советская контрразведка жила в состоянии распаленной подозрительности после «заговора Тухачевского». Если бы война с Германией началась в 1938 году, Красная армия вступила бы в нее с серьезно ослабленными штабными кадрами. Начало Второй мировой войны спасло арестованных от смерти и внезапно остановило обороты следственного колеса пыток. Они ожидали начала войны СССР с Германией, надеясь на освобождение, полную реабилита-

цию и выплату жалованья за отсиженные годы. Десятилетние приговоры, зачитанные им месяц назад, после трех с половиной лет непрерывного следствия, они считали заурядной формальностью, при помощи которой НКВД спасало свой авторитет.

Ни у кого из обитателей 37-й камеры в ноябре 1940 года не было сомнений в том, что война с Германией будет; они верили в ее победоносное завершение и в то, что ни дня военные действия не будут идти на советской территории. После вечерней поверки, когда в камеру приходил ларечник с папиросами, сосисками и газетами, Павел Иванович – как младший по возрасту и по воинскому званию – забирался на стол и читал вслух одинаковые *сообщения с Западного фронта* из «Правды» и «Известий». Это был единственный за весь день момент, когда генералы оживлялись, страстно споря о шансах обеих сторон. Меня поразило, что в их словах, когда речь заходила о советском военном потенциале, не было ни тени жалобы, бунта или мстительности – только грусть людей, оторванных от своего ремесла. Однажды я спросил об этом Павла Ивановича. «В нормальном государстве, – ответил он, – есть люди довольные, сравнительно довольные и недовольные. В государстве, где все довольны, возникает подозрение, что все недовольны. Так или иначе, мы представляем собой сплоченное целое». Я заучил эти слова наизусть.

Генерал Артамян, бородатый армянин из авиации, вечерами поднимался на несколько минут, и его массивное тело

совершало между нарами что-то вроде прогулки, «чтобы косточки размять». После каждой такой прогулки он ложился на прежнее место и, тяжело сопя, делал несколько глубоких вдохов и выдохов. Он всегда совершал это со смертельной серьезностью и удивительной пунктуальностью. Его вечерняя гимнастика была для нас сигналом к ужину.

Когда я попал в 37-ю камеру, шел третий день его голодовки; через десять дней моего пребывания в камере голодовка все еще продолжалась. Артамян побледнел, его прогулки становились все короче, у него часто начиналась одышка, и он заходилась кашлем каждый раз, когда раскуривал трубку. Он требовал освобождения и реабилитации, ссылаясь на свои заслуги и революционное прошлое. Ему предлагали работу под конвоем на ленинградском авиазаводе и отдельную камеру в «Зимнем дворце». Раз в три дня по утрам надзиратель приносил ему в камеру обильную передачу «от жены», о которой Артамян ничего не знал и которая, по всей вероятности, в течение тех же трех с половиной лет была в ссылке. Артамян поднимался с нар, предлагал угощение всем в камере, а когда ему отвечали лишь глухим молчанием, вызывал из коридора надзирателя и при нем выбрасывал все содержимое передачи в парашу.

Хотя меня определили спать возле параша, то есть совсем рядом с ним, он ни разу со мной не заговорил. Однако в последнюю ночь, когда неестественно оживленное движение в коридоре выглядело предвещающим этап, мы оба не спали.

Я лежал навзничь, сцепив пальцы под головой, и прислушивался, как за дверью нарастает шум шагов, словно гул выходящей из берегов реки у запруды. Клубы дыма из трубки Артамяна заслоняли слабый свет лампочки, погружая камеру в душный полумрак. Внезапно его рука спустилась с нар и принялась нащаривать мою. Когда я, слегка приподнявшись на полу, подал ему руку, он без единого слова сунул ее к себе под одеяло и приложил к грудной клетке. Сквозь холщовую рубаху я нащупал утолщение и впадину на ребрах. Он провел моей рукой ниже, под коленом, – то же самое. Я хотел что-то ему сказать, о чем-то спросить, но каменное лицо, обросшее мхом бороды, ничего не выражало, кроме усталости и раздумья.

После полуночи движение в коридоре усилилось, было слышно, как отпирают и запирают камеры, монотонные голоса вычитывали из списков фамилии. После каждого «здесь» река человеческих тел вздымалась, колотясь волнами приглушенного перешептыванья в стены. Наконец открылась и дверь нашей камеры – Шкловского и меня вызвали на этап. Когда, стоя на коленях, я поспешно увязывал свои пожитки, Артамян еще раз схватил меня за руку и крепко ее пожал. Мы вышли в коридор, прямо в толпу потных, еще дышащих сном тел, боязливо присевших на корточки у стен, словно охвостье человеческой нищеты в сточной канаве.

Со Шкловским мы оказались в одном отделении «столыпинского» вагона. Он подстелил на лавку шинель и, устроившись в углу, так и просидел все время – выпрямившись, молча, в гимнастерке, застегнутой на все пуговицы, сплетя руки на коленях. Кроме нас, на верхних откидных полках разместились трое урок и тут же принялись играть в карты. Еще поезд не тронулся, а один из них, орангутанг с плоским монгольским лицом, уже рассказал нам, что наконец-то дождался в Ленинграде приговора – 15 лет за то, что в печорском лагере зарубил топором повара, который отказался дать ему добавку каши. Он рассказывал спокойно, с оттенком гордости, ни на минуту не отрываясь от игры. Шкловский сидел неподвижно, с полуприкрытыми глазами, а я не без усилия засмеялся.

Было уже, наверно, поздно – поезд, вынырнув из леса, пересекал полосы серого света, поднимавшиеся над заснеженными вырубками, – когда орангутанг внезапно швырнул карты, спрыгнул с верхней полки и стал перед Шкловским.

– Давай шинель, – заорал он, – я ее в карты проиграл.

Полковник удивленно открыл глаза и, не меняя позы, пожал плечами.

– Давай, – завопил тот снова, – давай, *а то глаза выколю!*

Шкловский медленно встал и отдал шинель.

Только позже, в лагере, я понял смысл этой странной сцены. Игра на чужие вещи принадлежит к самым популярным развлечениям урок, а главная ее привлекательность состоит в том, что проигравший обязан изъять у постороннего зрителя заранее условленную вещь. Когда-то, году в 37-м, играли на чужую жизнь: более ценных вещей не было; сидящий на другом конце барака политзаключенный и не догадывался, что истертые карты, шлепающиеся с высоты на дощечку, пристроенную на коленях игроков, припечатывают его судьбу. «Глаза выколою» было в устах урок самой страшной угрозы: два пальца правой руки, расставленные рогаткой, целились прямо в глаз жертвы. Оружие против этого тоже было страшным: надо было молниеносно приставить ко лбу и носу напряженную ладонь ребром. Растопыренные пальцы распарывались об нее, как волны о нос корабля. Другое дело, что у орангутанга невелики были шансы исполнить угрозу: вскоре я заметил, что на правой руке у него не хватает указательного пальца. Самоувечье руки или ноги, которую клали на пень и рубили топором, считалось в 37-м, особенно на лесоповале, самым надежным способом на исходе сил выбраться в нормальную человеческую больницу. Невероятная бессмысленность советского лагерного законодательства привела к тому, что зэк, умиравший от истощения, был безымянной единицей энергии, которую в один прекрасный день вычеркивают из технического плана одним росчерком карандаша; но зэк, покалечившийся на лесоповале, был только поврежден-

ной машиной, которую как можно скорей отправляли в ремонт.

В Вологде из нашего отделения забрали меня одного. «До свиданья», – сказал я Шкловскому и протянул руку. «До свиданья», – ответил он сердечным рукопожатием. – Дай вам судьба вернуться в край наших отцов».

Еще сутки я провел в вологодской тюрьме, которая своими узорчатыми вышками и красной стеной, окружающей тюремный двор, напоминает небольшой средневековый замок. В подвале, в маленькой камере с отверстием величиной с голову вместо окна, я спал на голой, без настила, земле, среди окрестных мужиков, которые не отличали дня от ночи, не помнили, какой сейчас месяц и время года, не знали, сколько уже сидят, за что сидят и когда выйдут на волю. Подремывая на своих меховых тулупах – не раздеваясь, не раздеваясь, не видевши бани, – они в горячечном полусне бредили о семьях, домах и животине.

На рассвете следующей ночи я доехал с другим этапом до станции Ерцево Архангельской области, где нас уже ждал конвой. Мы высыпали из вагонов на скрипящий снег под лай овчарок и окрики охраны. На побелевшем от мороза небе еще мерцали последние звезды. Казалось, они вот-вот угаснут и непроглядная ночь выплывет из замерзшего леса, чтобы поглотить дрожащий накат неба и розовый рассвет, скрытый за зимними огнями костров. Однако на горизонте, за первым поворотом дороги, показались четыре силуэта

«аистов» на обмотанных колючей проволокой ногах. В бараках горел свет, а на трещащих от мороза вóротах гремя скользили колодезные цепи.

Ночная охота

Термин *произвол* сегодня, вероятно, уже неизвестен советским заключенным – последние дни его господства в большинстве российских лагерей пришлись на конец 1940 года. Крайне сжато его можно расшифровать как правление заключенных внутри лагерной зоны с позднего вечера до рассвета.

«Первопроходческий» период советских трудовых лагерей продолжался в основном с небольшими отклонениями, зависевшими от местных условий, с 1937 по 1940 год. «Тридцать седьмой» в сознании старых российских эков, которым посчастливилось пережить времена Большой Чистки и «построения социализма в одной стране», основанного на массовом применении принудительного труда, составляет дату, подобную Рождеству Христову в сознании христианина или разрушению Иерусалима в уме ортодоксального еврея. «Это было в тридцать седьмом» – слова эти, производимые шепотом, полным ужаса и еще не затянувшегося рубцами страдания, я постоянно слышал с самого прибытия в лагерь, словно речь шла о годе голода, мора, чумы, пожаров и гражданских войн. В революционном календаре существует целый ряд таких переломных исторических событий, которые – как свойственно стилю новой эры – обычно не называют строго по календарю. Для людей старшего по-

коления поворотный пункт – Октябрьская революция; как раз она более справедливо могла бы считаться началом Новой Эры, той датой, от которой с помощью слов «до» и «после» исчисляется все, что произошло когда-либо в истории человечества. В зависимости от позиции говорящего, «до» и «после» означают либо сначала нужду, потом достаток, либо наоборот; и в обоих случаях все, что происходило в России до «штурма Зимнего», одинаково тонет в полумраке доисторических времен. Люди помоложе (я, конечно, все время говорю о лагерях) исчисляют время иначе. Для них «при царе» уже бесспорно означает «рабство, нужду и угнетение», а «при Ленине» – «белый хлеб, сахар и сало». Эти верстовые столбы, закрепленные в примитивном историческом сознании главным образом рассказами отцов, иногда поворачиваются к археологу с капиталистической планеты и другими надписями: после периода сравнительного благополучия наступает эпоха Голода и Коллективизации, которая не пощадила ни одну семью на Украине; за годами Свободы и Энтузиазма идут годы Террора и Страх, потрясаемые периодическими катаклизмами Всеобщих Чисток и утыканные именами Кирова, Ягоды, Ежова, Зиновьева, Каменева, Троцкого и Тухачевского. Перекореженная невидимыми сотрясениями земная кора складывается в зримые горные хребты, с которых в долины катятся потоки крови и слез. После каждого такого кровавого орошения на бесплодных горных склонах вырастает новая Власть, а промежутки между циклическими

горными цепями заполняет – ослабевая либо нарастая – Капиталистическое Окружение. Сталин возносится над послеленинской эпохой как жестокий Верховный Жрец, который украл с алтаря богов священный огонь революции.

Первые мои лагерные товарищи, инженер по сельскому хозяйству Поленко и телефонный техник из Киева Карбонский (первый был осужден за саботаж коллективизации, второй – за переписку с родственниками в Польше), относились как раз к недобитым остаткам Старой Гвардии 37-го года. Из их рассказов я узнал, что Каргопольский лагерь – в момент моего прибытия состоявший уже из многих *участков*, рассеянных на площади в несколько десятков километров и в сумме насчитывавших около тридцати тысяч заключенных, – четыре года тому назад основали шесть сотен зэков, высаженных однажды ночью вблизи станции Ерцево, в нетронутой архангельской тайге. Условия были тяжелые: мороз зимой доходил до -40° по Цельсию (что в этих краях дело самое обычное); еды было не больше 300 грамм черного хлеба и миски горячей баланды в сутки; жили в шалашах из еловых ветвей, кое-как сооруженных рядом с непрерывно пылавшими кострами; только вохра размещалась в передвижных домиках на полозьях. Зэки начали работу с того, что расчистили небольшую вырубку и посреди поляны построили больничный барак. Тогда-то и оказалось, что самоувечье на рабочем месте дает привилегию – возможность провести несколько недель под настоящей крышей, с которой не течет

талый снег, вблизи докрасна раскаленной железной печурки; но число несчастных случаев на работе было так велико, что потерпевших чуть не каждый день приходилось отвозить на санях в больницу в Няндому, за несколько десятков километров от Ерцева. Одновременно чудовищно росла смертность. Первыми начали умирать польские и немецкие коммунисты, которые бежали из родных краев, ища спасения от тюрьмы – в России. Смотреть, как умирают поляки, по рассказам двух моих товарищей, было куда страшнее, чем выслушивать горячечный предсмертный бред немцев. Польские коммунисты (в большинстве своем – евреи) умирали внезапно, словно птицы, падающие с веток в мороз, или, скорее, словно глубоководные океанские рыбы, которые разрываются от давления изнутри, если из-под столба воды во много атмосфер их вытащить на поверхность. Один короткий приступ кашля, едва слышное минутное удушье – и конец. Маленькое белое облачко пара на мгновение повисало в воздухе, голова тяжело опускалась на грудь, руки судорожно сжимали горстку снега. И всё. Без единого слова. Без единой просьбы. После них пришла очередь украинцев и *нацменов* (жителей Средней Азии: казахов, узбеков, туркмен, киргизов). Лучше всего держались коренные русские, прибалты и финны (как известно, великолепные лесорубы), поэтому им повысили дневной паек на сто грамм хлеба и дали лишний половник баланды. В первые месяцы, когда высокая смертность и примитивное бивуачное житье не

позволяли охране вести точный счет заключенных, в шалахах, бывало, по нескольку дней оставляли заледенелые трупы, получая на них в бригадах хлебные пайки и талоны на баланду. На поляне, которую уже окружили колючей проволокой, росли бараки, а бригады *лесорубов*, подкрепляемые свежими пополнениями из тюрем, что ни день вгрызались все глубже в еловую чащу, оставляя на своем пути умерших и деревянный настил для грузовиков и саней: из плотно пригнанных еловых досок, положенных на невысокую насыпь, строится нечто вроде пешеходных мостков, а две полукруглые балки прибиты сверху и идут параллельно друг другу на расстоянии, соответствующем ширине оси между колесами автомобиля или полозьями саней; колеса или полозья медленно движутся по настилу по обе стороны от балок, которые не позволяют им соскользнуть; через каждые несколько десятков метров настил пересечен в двух местах, так, чтобы машине хватало места повернуть, и насажен на болты. В 1940 году Ерцево было уже крупным центром Каргопольского деревообрабатывающего комбината с собственной продовольственной базой, собственной лесопилкой, двумя железнодорожными ветками и собственным городком для лагерной охраны и администрации. Все было выстроено руками зэков.

К этим «пионерским» временам относится и традиция *произвола*³. Когда еще не было запиравшихся на ночь скла-

³ Один бессарабский коммунист рассказывал мне, что в 1938 году у него на

дов, куда заключенные после работы сдают режущий инструмент (пилы, топоры и колуны), а охрана, после того как стемнело, простирала свою власть не дальше кончика штыка или сияющего острия прожектора, часть инструмента вечером перекочевывала в бараки. Первые орды урок, прибывшие в лагерь в 1938 году, воспользовались таким положением дел, чтобы провозгласить в зоне от сумерек до рассвета «республику заключенных» с собственными тайными судилищами. Ни один охранник не осмеливался появляться между бараками ночью, даже если до его слуха доносились жуткий крик и вой убиваемых политических: никогда нельзя было знать, из-за какого угла барака вынырнет и разнесет ему череп тяжелый обух топора. Поскольку дознание при свете дня давало обычно ничтожные результаты, политзаключенные организовали свои отряды самообороны, и эта гражданская война между сбившимся с пути пролетариатом и революционной интеллигенцией, постепенно слабея, продолжалась, кажется, до первых месяцев 1939 года. Это было время, когда современная техника и возросшие штаты охраны наконец позволили НКВД перехватить инициативу. В 1940 году остаточные формы «республики заключенных» существовали уже только для того, чтобы облегчить уркам ночную охоту на новоприбывших женщин. Тут следует воздать должное НКВД: он глядел на этот крестный нерест сквозь пальцы, но

глазах растерзали Карла Радека, который пал жертвой *произвола* в лагере на Соловках.

только в зоне дверь в женский барак оставалась на расстоянии меткого выстрела с вышки. Новоприбывших женщин старые *лагерницы* обычно предупреждали о грозящей опасности, но бывали случаи, когда те не хотели верить предостережениям. Если наутро после несчастного случая жертва являлась на вахту с жалобой, то ее встречали издевками, да и какая разумная женщина стала бы нарываться на безжалостную, слепую мстительность урок? Она с самого начала узнавала, каковы лагерные законы борьбы за существование, и инстинктивно им подчинялась, не выходя из барака, когда темнело, или отыскивая среди преследователей могущественного покровителя. В начале 1941 года НКВД укротил и любителей ночной охоты. Жизнь стала для одних намного более сносной, а для других — *ужасно скучной*.

По прибытии в лагерь я проспал целый день в пустом бараке, а под вечер, когда меня прошиб озноб и я почувствовал жар, по совету старого попа Димки потащился в *лазарет*. Димка, одноногий старик, остававшийся в бараке за дневального, дружески посоветовал мне не уступать врачу, пока тот не положит меня в больницу. «После тюрьмы, – говорил Димка, – первое дело – отдохнуть, а потом уже браться за честный труд». На словах «честный труд» мы оба засмеялись. Поп ударил себя деревянным коромыслом по протезу, взгромоздил коромысло на плечи и железными крюками поднял с земли ведра. В его бездеятельной жизни пробил самый главный час дня. Он уже дочиста вымыл пол, подбросил

дров в печку и теперь отпраплялся за кипятком и за *хвоей* – темно-зеленым отваром из сосновых иголок, который вроде бы помогал против авитаминоза. Очень немногие в лагере больные цингой получали от врача талоны на *цинготное питание*. Так называли хорошую ложку овощной сечки – главным образом лука, морковки, брюквы и свеклы. Почти всегда *цинготного* добивались, сражаясь не за лекарство, а за лишнюю ложку еды.

В зоне уже смеркалось, но стояло затишье – почти хорошая погода. Первый дым поднимался над бараками, широкими веерами обметая навесы крыш; заледенелые оконные стекла испускали слабый, грязноватый свет, как анемичное осеннее солнце, заходящее за непроницаемую тучу; а на горизонте, куда ни глянь, тянулась черная стена леса. Дорожки в лагере были сделаны из двух рядом положенных досок. Их ежедневно, особенно после выюжных ночей, расчищали попы, деревянными лопатами отваливая снег в сторону и наваливая сугробы, доходившие иногда до пояса. Весь лагерь выглядел как огромные глиняные разработки, пронизанные сетью узких канавок для вагонеток. Приоткрытые ворота на вахте уже дожидались возвращения первых бригад с работы. На высоком помосте возле кухни стояла очередь сшитых на живую нитку лоскутных теней в ушанках и огромных бахилах, из которых торчали ноги, обмотанные веревками, – нетерпеливым звяканьем котелков очередь напоминала повару о себе.

Лазарет помещался в маленьком домике неподалеку от женского барака. За картонной перегородкой дежурили врач и его помощник, *лекном*, а в углу у двери сидел за столиком оборванный, заросший старик в очках с проволочной оправой и каждого входящего встречал ласковым взглядом своих маленьких глаз, с нескрываемой радостью вписывая новое имя в список пациентов. Он, видно, здесь прижился: не только каллиграфическим почерком записывал фамилии ожидающих и все время подбрасывал чурки в печь, но и со смешной серьезностью расспрашивал о симптомах заболевания и, сунув кудлатую голову за дверь перегородки, кричал: *«Татьяна Павловна! Кажется, серьезный случай»*, – а возвращаясь за стол, с удовольствием помешивал деревянной ложкой остатки баланды, которые разогревались в жестянке на краешке печки. Милый женский голос неизменно отвечал: *«Матвей Кириллович, будьте любезны подождать»*, – и старик разводил руками жестом крайне занятого крупного чиновника. Эти остатки необычайной, почти преувеличенной вежливости можно встретить в лагерях только у пожилых людей.

Среди ожидавших преобладали *нацмены*. Уже в прихожей держась за животы, они с самого порога перегородки издавали резкий жалобный скулеж, в котором невозможно было отличить болезненные стоны от ломаной русской речи. На их болезнь не было лекарства, поэтому их обычно считали неизлечимыми симулянтами. Они умирали от тоски по родным

краям – от голода, холода и однообразной снежной белизны. Их косо сощуренные глаза, непривычные к северному пейзажу, не переставая слезились и зарастали желтой полоской гноя на ресницах. В редкие выходные дни узбеки, туркмены и киргизы собирались в один угол барака, празднично приодевшись в цветные шелковые халаты и узорчатые тюбетейки. Никогда нельзя было угадать, о чем они так оживленно разговаривают – жестикулируя, перекрикивая друг друга и задумчиво кивая головами, – но уж наверняка не о лагере. Очень часто поздно вечером, когда старики уходили в свои бараки, молодые еще оставались парами на общих нарах и часами гладили друг друга по шее, лицу и спине, обтянутой шелком. Это было похоже на постепенно накачивающийся спазм: движения становились все медленней, деревянней, затуманенные глаза стекленели. Я не знаю, как кончались эти ночные ласки, и никогда не видел *нацменов*, занимавшихся мужской любовью, но за время моего полутора-летнего пребывания в лагере через Ерцево прошла только одна туркменка. В *нацменском* углу ее с почестями приветствовали старики и молодежь, а прежде чем наступила темнота, проводили в женский барак; на следующий день она ушла с этапом.

Татьяна Павловна оказалась действительно милой, уже седеющей женщиной – убедившись, что у меня очень высокая температура, она без труда дала мне направление в больницу. «Это, однако, мало что значит, – сказала она мне на

прощание, – иногда приходится очень долго ждать свободной койки». Когда я возвращался в барак за вещами, в зоне уже стемнело. По узким дорожкам на ощупь двигались зэки, пораженные куриной слепотой: они осторожно нащупывали резиновыми подошвами бахил обледенелые доски, а трепещущими пальцами рук – черную завесу воздуха. То один, то другой валился в сугроб и выкарабкивался из него, отчаянно дергаясь всем телом, и тихо звал на помощь. Здоровые зэки равнодушно проходили мимо, глядя в загоревшиеся окошки барачков.

В больнице я только ночь пролежал в коридоре, а потом целых две недели – в палате, на чистой постели, и вспоминаю этот период как один из самых прекрасных в моей жизни. Кожа, за год отвыкшая от постельного белья, казалось, с облегчением дышала всеми порами, глубокий сон погрузил меня в горячечный бред и воспоминания, словно в стог душистого сена. Так я спал целые сутки. Рядом со мной лежал человек, больной *пеллагрой*. Я не могу объяснить, в чем состоит это заболевание, – знаю только, что проявляется оно в выпадении волос и зубов, в приступах затяжной меланхолии, а еще, кажется, в грыже. Мой сосед каждое утро, едва проснувшись, сбрасывал одеяло и в течение нескольких минут взвешивал на ладони свои яички. Его лечили исключительно кубиками маргарина величиной с коробочку спичек, которые он получал на завтрак вместе с порцией белого хлеба. *Пеллагрики* никогда окончательно не выздоравли-

вали; после выписки из больницы их переводили в барак для неработающих, где они получали сниженный паек и могли целыми днями лежать на нарах; барак этот назывался *слабосилкой*, но с большей правотой его в лагере называли «моргом» или «мертвецкой». В больнице я подружился с медсестрой – необычайно самоотверженной и деятельной русской женщиной, которая отсиживала 10 лет как дочь «контрреволюционера». Ее отец, если еще оставался в живых, находился в *закрытых лагерях* — неизвестно, где и в каких условиях, без права переписки.

Вернувшись в барак, я еще на три дня получил освобождение, так что у меня было достаточно времени, чтобы подумать о будущем. Теоретически было три возможности: либо меня пошлют в бригаду лесорубов, либо отправят этапом в другой *лагпункт*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.